

ДИАЛОГ СОГЛАСИЯ

К числу наиболее существенных идей Бахтина следует причислить мысль о том, что «согласие» представляет собой «важнейшую диалогическую категорию» (5, 364)¹. При всей своей нелюбви к иерархическим отношениям здесь мыслитель выстраивает достаточно очевидную иерархию.

«Нулевые диалогические отношения» представлены в этой иерархии комедийным диалогом глухих, «где имеется реальный диалогический контакт, но нет никакого смыслового контакта между репликами (или контакт воображаемый)» (5, 336).

Низшая ступень восхождения к вершине диалогических отношений отводится «несогласию», которое «бедно и непродуктивно» (5, 364); «спору, полемике, пародии» как «внешне наиболее очевидным, но грубым формам диалогизма» (5, 332).

Следующий уровень представлен «доверием к чужому слову, благоговейным приятием», «ученичеством» (5, 332).

Выше этих крайностей приятия-неприятия чужого слова располагается «разногласие; оно, в сущности, тяготеет к согласию, в котором всегда сохраняется разность и неслиянность голосов» (5, 364).

И, наконец, на высшей ступени диалогизма разворачивается «богатство и разнообразие видов и оттенков согласия», которое «по природе своей *свободно*», ибо «за ним всегда преодолеваемая даль и сближение (но не слияние)» (5, 364). Среди «бесконечных градаций и оттенков» диалогического согласия Бахтин называет: «наслаивание смысла на смысл», «усиление путем слияния (но не отождествления), сочетание многих голосов (коридор голосов), дополняющее понимание» (5, 332).

Отметим, что процитированная выше формула *конвергенции* (схождения) – «сближение (но не слияние)» – несколько точнее передает мысль Бахтина, чем «слияние (но не отождествление)». Ибо, как уточняется в другом месте, «полифоническое согласие не сливает голоса, не есть тождество, не есть механическое эхо» (6, 302). В частности, «в мире Достоевского и *согласие* сохраняет свой *диалогический* характер, то есть никогда не приводит к *слиянию* голосов и правд в единую *безличную* правду, как это происходит в монологическом романе» (6, 108).

Употребленный нами термин «конвергенция» представляется весьма точным при передаче идей Бахтина на актуальном научном языке. Хотя это слово и нельзя назвать собственно бахтинским, однако однажды оно Бахтиным употребляется – в одном из ключевых мест для понимания всей концепции диалогизма: «Два высказывания, отдаленные друг от друга и во времени и в пространстве, ничего не знающие друг о друге, при смысловом сопоставлении обнаруживают диалогические отношения, если между ними есть хоть какая-нибудь смысловая конвергенция» (5, 335).

Итак, «диалогическое отношение согласия» (5, 336) является, по мысли Бахтина, «последней целью всякой диалогичности» (5, 364). В рамках бахтинской концептосферы это можно мотивировать трояко.

Во-первых, «некий минимум согласия» мыслится «как необходимое условие диалога (общий язык, какой-то минимум взаимопонимания)» и поэтому на деле «является идеей (регулятивной)» всякого общения (5, 364). Как писал другой диалогист, О. Розеншток-Хюсси, «никакая часть ни одного диалога на свете не имеет смысла, если она не воспринимается как вариация чего-то общего, что разделяется говорящим и его слушателями»².

Во-вторых, перспектива «*свободного согласия* в высшем («золотой век», «царствие божие» и т.п.)» (5, 353), с точки зрения бахтинской интерпретации Достоевского, – это перспектива «вечности» (2, 156), тогда как спорность всегда ситуативна и временна.

Наконец, «самостоятельность, свободу и равноправие в согласии труднее осуществить, чем при противоречиях в споре». Поэтому-то «черт боится согласия <...> как потери своей личности» (6, 302).

Дабы осмыслить согласие как высшую форму диалогических отношений, следует вдуматься в бахтинское наполнение самой категории «диалогизма», который «шире диалога» (5, 361), то есть включает в себя также и монолог³.

Монологическая речь относится к сфере диалогизма, во-первых, в том смысле, что «и между глубоко монологическими речевыми произведениями всегда наличны диалогические отношения» (5, 336). А во-вторых, такие отношения существуют не только между высказываниями; они суть «пронизывающие также изнутри и отдельные высказывания» (5, 321). С другой стороны, монологизм, по Бахтину, нередко проявляется в композиционных формах диалогической речи.

Суть дела в том, что – в отличие от лингво-филологических категорий монолога и диалога – бахтинские понятия «монологизма» и «диалогизма» относятся к «металингвистике» (5, 321), поскольку «диалогические отношения <...> гораздо шире диалогической речи» (5, 336). Металингвистика – термин Б. Уорфа⁴, используемый Бахтиным в значении, близком к «новой риторике», возникающей в те же 1950-е годы на Западе. Предметом этой самозарождающейся (практически одновременно в англоязычном, франкоязычном и русскоязычном культурных ареалах) дисциплины мыслятся «*смысловые отношения, членами которых могут быть только целые высказывания* (или рассматриваемые как целые, или потенциально целые), за которыми стоят <...> реальные или потенциальные речевые субъекты» (5, 335). Ситуация несколько усложняется тем, что иногда в металингвистическом значении Бахтин метонимически употреблял также и слово «диалог», отграничивая обозначаемое им отношение от «реального диалога» (5, 335).

Давая «определение монологизма», формулируя его как «отказ другому в последнем слове» (5, 362), а также трактуя не реплики, но «голоса как *единицы диалога*» (5, 361), разыгрывающегося порой в одном слове⁵, мыслитель ясно дает понять, что речь идет о межличностных, intersубъективных отношениях сознаний, манифестируемых их коммуникативным поведением.

«Диалогизм» в таком ракурсе предстает характеристикой подлинно человеческих, гуманизированных взаимоотношений между людьми. Ибо единство человечества мыслится Бахтиным «не как *природное* одноединственное, а как диалогическое *согласие* неслиянных *двоих* или нескольких» (5, 346). Поэтому «овладеть внутренним человеком, увидеть и понять его нельзя, делая его объектом безучастного нейтрального анализа <...> Только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается и “человек в человеке” как для других, так и для себя самого» (2, 156).

«Монологизм» же, будучи присвоением монопольного права на «последнее слово», игнорирует человечность другого, его душевную глубину, лишает объект своего высказывания (или адресат – при диалогической форме проявления монологизма) статуса внутреннего «человека в человеке». При этом и сам монологист, овнешняя другого, превращая его в безголосый объект собственной мысли, лишается чисто человеческой «возможности подлинно диалогического отношения к себе самому» (5, 332).

Таким образом, рассуждая по-бахтински, монологизм предстает извращением истинно человеческих взаимоотношений, подавлением личностного содержания общения – его функционально-ролевой формой. Ибо в живом и подлинном общении «слово нельзя отдать одному говорящему. У автора (говорящего) свои неотъемлемые права на слово, но свои права есть и у слушателя, свои права у тех, чьи голоса звучат в преднайденном автором слове» (5, 332). Между тем в официально-ролевом

функционировании социальных субъектов «права на слово», его весомость и окончательность жестко регламентированы.

В свете сказанного становится понятным столь негативное отношение самого Бахтина ко всякому негативизму, спору, несогласию. Ситуация неформального спора уравнивает собеседников, в чем и состоит ее диалогизм («грубая форма диалогизма»), однако отвержение чужой мысли тяготеет к монологизму, граничит с ним, поскольку отказывает чуждой мысли в «праве на слово».

Все это убеждает нас, что «полифоническое согласие» (6, 302) как «регулятивная идея» (5, 364) составляет один из базовых концептов бахтинского мышления. Попробуем ответить на вопрос, каково место этого концепта в современном научном контексте.

Говоря языком неориторики, бахтинский диалог согласия представляет собой некоторую коммуникативную стратегию. В самом общем виде понятие коммуникативной стратегии, определяющее архитектонику коммуникативного события, предполагает позиционирование всех трех инстанций высказывания: объекта, субъекта и адресата.

В частности, позиционирование коммуникативного объекта означает отнесение его к той или иной риторической картине мира. Такого рода типовые картины мира выступают наиболее обобщенными «топосами согласия», некими общими знаменателями, обеспечивающими ментальное взаимодействие людей, обладающих весьма несхожими индивидуальными картинами мира.

Диалог согласия стратегически нуждается в обращении общающихся сознаний не к «ролевой», «императивной» или «оказиональной» картинам мира, описанным в «Новой риторике» Х. Перельмана⁶, но – к *вероятностной* картине мира, где истина, несомненно, присутствует, но такая, которая «требует множественности сознаний, она принципиально неместима в пределы одного сознания <...> и рождается в точке соприкосновения разных сознаний»⁷.

Позиционирование коммуникативного субъекта может быть охарактеризовано как выбор говорящим (пишущим) той или иной риторической фигуры авторства. Диалог согласия в этом отношении требует от автора «речевых произведений» (5, 336) не нормативно-исполнительского самоограничения своей субъективности и не ее самоутверждения, но – *самоактуализации*, то есть объективирования собственной субъектности: «Объективируя себя (т.е. вынося себя вовне), я получаю возможность подлинно диалогического отношения к себе самому» (5, 332).

Наконец, позиционирование адресата диалогом согласия предполагает *взаимодополнительность* рецептивного сознания по отношению к сознанию креативному, текстопорождающему. Оно исходит из стратегического момента взаимной ответственности общающихся сознаний и требует «дополняющего понимания» (5, 332) «как вхождения в диалог» (5, 561).

Очевидно, что конвергентная стратегия диалогического согласия не может быть реализована ни регламентарным, ни провокативным риторическим поведением коммуниканта. Она реализуется *аллюзивными* возможностями коммуникативного поведения (в частности, возможностями двуголосого, несобственно-прямого слова), обращенными к *инспиративным*, «вдохновительным» ресурсам человеческого сознания.

При всей фундаментальной важности концепции согласия для Бахтина очевидно, что она не является оригинальной бахтинской идеей. Мыслитель оперировал ею как достаточно самоочевидной, почему и не прибегал к развернутым ее экспликациям (в отличие, например, от категории хронотопа).

По своему происхождению интерсубъективное согласие является *христианской* идеей. Напомним общеизвестное: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18, 19–20).

Реже обращают внимание на то, что Иисус не только провозглашает эту установку на согласие, но и демонстративно реализует ее своим самым первым после воскресения явлением ученикам. Ибо он является даже не Петру, который «встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему» (Лк 24, 12), а двум своим рядовым последователям, не апостолам – в соответствующей ситуации: «В тот же день двое из них шли в селение <...> называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними» (Лк 24, 13–15). Только после возвращения с известием о происшедшем этих двоих к апостолам «Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам» (Лк 24, 36). Новозаветное слово вообще глубоко и принципиально диалогично в отличие от ветхозаветного, которое – монологично (в бахтинском смысле).

«Регулятивная» идея диалога согласия имеет самое непосредственное отношение к верному пониманию книги Бахтина о Рабле, неадекватно воспринимаемой порой в качестве «контркультурной» и антихристианской.

Исконный карнавал в бахтинской интерпретации является единением, но не диалогическим, а хоровым – не согласием, но единогласием. Однако в исторических ситуациях монологического строя культуры «смеховое начало и карнавальное мироощущение <...> освобождают человеческое сознание <...> для новых возможностей»⁸. Можно с уверенностью утверждать, что Бахтин здесь подразумевает «возможности» диалогического согласия: «На фоне исключительной иерархичности феодально-средневекового строя и крайней сословной и корпоративной разобщенности людей», обращаясь на время к утраченному единению, – но уже не домонологическому (хоровому), а постмонологическому (диалогизированному), – «человек как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений. Отчуждение временно исчезало. Человек возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людей»⁹.

Концепция диалогического согласия, составляющая один из фундаментальных аспектов «подводной части айсберга» бахтинской мысли, может представлять не только академический интерес.

В российской культуре укоренена многовековая традиция (практически нечувствительная к переменам социально-политического строя жизни), согласно которой в сферах результирующей коммуникации используется монологическая стратегия *подчинения*: просьбы или приказания. Позиция коммуниканта при этом не является субъектной позицией (диалогической), но – объектной, внеличностной, функционально-ролевой (монологической, по Бахтину). Корни результирующего общения как общения авторитарно-иерархического уходят в российский семейный уклад (сформированный российской историей), где подавляющее большинство родителей практически не умеют *договариваться* со своими детьми, прибегая обычно к поучению и приказам, а в случае их неэффективности – к просьбам и потаканию.

Однако в современных отечественных условиях становления гражданского общества возникает множество таких коммуникативных ситуаций, в которых между участниками договорного процесса отсутствуют иерархические отношения подчиненности. В подобных ситуациях просительность и требовательность неэффективны, но многие российские коммуниканты не владеют навыками диалогического согласия как наиболее эффективного пути достижения желаемого результата.

К статье В.И. Тюпы

¹ Бахтинские тексты цитируются (с указанием тома и страницы) по изданию: Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1996–2002. Тт. 2, 5, 6.

² Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. С. 53.

³ С.Н. Бройтман (соглашаясь, в частности, с Л.А. Гоготишвили) показал, что монолог и диалог для Бахтина выступают не диалектическими антиномиями, а крайними пределами некоторого «спектра диалогических отношений» (Бройтман С.Н. Диалог и монолог (от «Проблем творчества Достоевского» к поздним работам Бахтина) // Дискурс. 2003. № 11. С. 46–48).

⁴ Whorf В. Collected Papers on Metalinguistics. Washington, 1952.

⁵ Ср.: «Слово – это драма, в которой участвуют *три* персонажа» (5, 332).

⁶ См.: Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation. Paris, 1958.

⁷ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 135.

⁸ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 56.

⁹ Там же. С. 13.